

Павел Засодимский

# От сохи к ружью



# Павел Владимирович Засодимский

## От сохи к ружью

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=631735](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=631735)

*Крестьянские судьбы. Рассказы русских писателей 60-70-х годов XIX века: Современник; Москва; 1986*

### Аннотация

«...В то же мгновение граната, шипя, взбороздила землю перед самой лошадью, и раздался взрыв. Раненого, который окликнул Бахрушина, всего обдало песком. Когда же пыль рассеялась, он протер глаза и оглянулся... Лошадь была уже бездыханна, и рядом с ней, распластав руки, лежал Яков Бахрушин, страшно обезображенный, с разможенным черепом, облитый кровью...»

# Содержание

1	4
2	9
3	15
4	19
5	23
6	28
7	32
8	34
Павел Владимирович Засодимский	37

# Павел Владимирович Засодимский От сохи к ружью (Из деревенских летописей)

*О край леса – леса темного  
Пролегла след-дороженька,  
Та дороженька поубитая,  
Горячей слезой политая...*

*(Из народной песни)*

## 1

Время – июль 1877 года. Место действия – глухой деревенский уголок в одной из наших северо-восточных провинций.

Ни одного облачка не видать на синем небе, и высоко стоит в нем горячее полуденное солнце. Теплый ветерок чуть подувает, и под его дуновением едва колышется колос желтеющей ржи, едва подергиваются легкою зыбью голубые воды речки. Зеленые луга расстилаются по отлогому берегу, далее раскидываются поля. Речка обмелела; берега ее теперь

окаймляются песчаной, каменистой полосой. Берег, противоположный лугам и полям, крут и обрывист; на нем располагается большая деревня – Обросимово.

Страда – в самом разгаре. Деревня опустела, словно вымерла. Только две старухи оставались на виду: одна сидела под оконцем, на завалинке, на самом припеке, и разогревала на солнышке свое зябкое, худенькое тело; другая, кряхтя и охая, расстилала по траве холст. Черный Жучко лежал в тени у колодца, под рябиной... Все Обросимово разбрелось по луговой стороне: одни лен дергали, другие жали, третьи еще сено дометывали; некоторые косили, а иные – поторопливее – уже принимались за озимовую пашню. Дело в том, что зимой снега были глубокие, вода весной была велика и не спадала долго, и весна выдалась холодная. С половины июня пошли жары, и лишь с того времени стала подниматься травка... Оттого и вышло, что сенокос еще не кончили, а рожь уже поспела и пришло время посева. Трудно было в этот год деревенскому люду справляться зараз с тремя работами.

Зато и не зевали – жали иной раз до полуночи и возвращались домой, когда месяц уже скрывался за лесом. Теперь на лугу сверкали косы, на полях серпы блестели. Пестрели разноцветные платки; видны были с подоткнутыми подолами сарафаны – синие, желтые, розовые; попадались и дырявые холщовые рубахи. Ребята ставили суслоны, шевелили сено и, играючи, чуть не с головой зарывались в ароматной траве.

Яков Бахрушин докосил свой участок; Марфуша переше-

велила сено и сгребла его в валы... Наступал тихий, благодатный вечер. В олешняке над рекой громко чирикала малиновка; заунывная песенка доносилась откуда-то издалека.

– Вон, люди паужинать собираются... Пора и нам! – сказал Яков, кладя на плечо косу и прихватывая другою рукой пустой бурак из-под воды.

– Пора и то! – промолвила Марфуша, отходя к соседней копне.

Там, зарытый в сено и обмотанный в тряпье, спал ее сынишка. Во сне малютка ухватил правой ручонкой горсть сухой розовой макушки, а другую подложил под свою разгоревшуюся щечку и спал тем блаженным, беззаботно-спокойным сном, каким, читатель, нам уже не спать. Марфуша бережно взяла его на руки и, прихватив на плечо грабли, пошла за мужем. Малютка не пробудился, только потянулся на другой бок и еще крепче прижался головой к материнской груди... Марфуша заботливо поглядывала на своего спящего Пашутку. И как ей было не поглядывать на него! Ведь это – ее единственный сынок, ее первенец, ее радость. К тому же и бабушка, и сестра, и все говорят, что Пашутка походит на отца... А Якова она крепко любит. Мужик хороший, добрый, непьющий, ни разу пальцем ее не тронул...

И Якову было за что любить свою молодуху: баба – работающая, не пустомеля, не слезомоя, женщина здоровая и красивая. Лицо у нее продолговатое, с прямым, тонким носом и с пухлыми, алыми губами. Ее голубые глаза весело и открыто

смотрят на белый свет. А над ними, словно кисточкой, проведены темные брови. Густой румянец играет на ее загорелых щеках. На голове теперь повязан ситцевый платочек, десять раз стиранный и уже кажущийся беловатым; пряди рыхлых волос выбиваются из-под него. Ее холщовая рубаха кругом ворота незатейливо обшита кумачом. Свободно, легко сидит на ней синий, также полинявший сарафан, едва подтянутый по стану узеньким поясом. Высокого роста, стройная, довольно полная, идет она «с перевалочкой» – и видно, как под рубахой вздымается ее высокая, здоровая грудь.

Яков тоже – молодец, под пару ей. Недаром же был он «записан» в гвардию. Плечи у него – косая сажень, и по всему заметно, что силы ему не занимать. Лицо чистое, пригожее, а кроткие серые глаза словно хотят промолвить: «Мы смирны! Не обидим мы вас, добрые люди! Только нас не трожь»... Впрочем, теперь в этом дюжем мужике, обросшем бородой, трудно признать гвардейца. На нем – потертая фуражка с истрескавшимся козырьком, холщовая рубаха, синие пестрядинные штаны, далеко не доходящие до пяток. Ноги босы, грязны, местами наколоты до крови... Слегка сгорбившись, медленною поступью, шел он теперь к реке, а солнце так и поблескивало на лезвее его косы.

Дойдя до реки, Яков стал перебираться через нее где по камешкам, торчавшим из воды, где вброд, благо было неглубоко. За ним, приподняв рубаху до колен, переходила Марфуша со своею живою ношей на руках. Взобравшись по

узенькой тропинке на берег, они пошли вдоль деревенской улицы и, свернув в проулок, скоро очутились дома.

Хата у них – небольшая, в два оконца, новенькая, три года тому назад поставлена. Налево от нее – двор, с двух сторон обнесенный сараями, а с третьей – от проулка отгороженный плетнем. В плетне проделаны ворота, сколоченные тоже из новых сосновых досок. За хатой разведен огород. Над самой хатой, широко распростерши ветви, стоит, наклонившись, старая черемуха, а в угол забились дикая яблонь, обросшая шиповником и высоким лопухом.



## 2

В то время как Марфуша, положив ребенка в зыбку, возилась с чем-то под навесом сарая, Яков пошел в огород за луком. Выдернув несколько головок и отряся с них землю, он задумчиво осмотрелся по сторонам.

– А знаешь, что я хочу сделать!.. – крикнул он Марфуше. – Сниму-ка я на будущий год у Кузьмича вот этот косячок, да и пригородим его... гряд десять лишних, глядишь, и выйдет...

– А это хорошо бы, Яша! – отозвалась жена.

– Гм! Еще бы – нехорошо... – продолжал Яков. – Посадили бы мы картошки – и важное дело! Картошка ведь – большое подспорье в еде. Хлеба-то на зиму, пожалуй, у нас и стало бы хватать. А то ведь не накопишься его... вон как зимось по рублю пуд...

– Что и говорить! – согласилась Марфуша.

– Вот то-то я теперь и думаю: сколько-то Кузьмич запросит за «угол»... Земля-то у него тоже без дела стоит...

Яков почесал затылок и еще раз пристально посмотрел на прилегавший к его огороду участок соседской земли, стоявшей впусе.

– Поспросать ужо... – заметила жена.

Обоим им пришла мысль по сердцу: прихватить у Кузьмича землицы и расширить огород... Отправились паужинать. Похлебали квасу с натертым луком, хлебнули кислого

молока с накрошенным в него хлебом и все это запили ков-  
шиком студеной воды.

– Сенокос завтра порешим! – заговорил Яков, усаживаясь  
на крыльцо. – Ты, Марфа, завтра лен дергай, а я сено пере-  
вожу... Слышь?

– Ладно! – отозвалась жена.

– Ну, а потом за рожь принимайся... я засеюсь той по-  
рой... А как с пашней управлюсь, с тобой на полосу стану.  
Вот тогда дело-то у нас ходчее пойдет.

– Да с рожью-то торопиться некуда... – заметила Марфу-  
ша. – Овес-то еще с прозеленью, да такой неровный, бог с  
ним...

– Овес нынче неважный... нельзя похвастать!

– Что будешь делать! – с легким вздохом прошептала же-  
на.

Яков молча вытащил из кармана штанов трубку и ки-  
сет. Взял он горсточку истолокшегося листа, набил свою но-  
согрейку, достал из кисета кремень, огниво и, оторвав зу-  
бами кусочек трута, высек огня и закурил. Дымок взвился  
над трубкой и пошел гулять в воздухе тонкими синеватыми  
струйками. Потянуло тютюном...

Марфуша, управившись, тоже вышла на крыльцо и, при-  
сев на ступеньку, стала ублажать своего маленького крикуна.  
Расстегнув ворот, она обнажила свою могучую белую грудь  
и приложила к ней малютку. Тот мигом замолк, и слышно  
было его самодовольное мычанье и причмокивание... Пусть

пьет малютка, пусть он, сердечный, набирается сил и бодрости: их понадобится ему в жизни много-много... Теперь ему нет еще дела ни до государственных, ни до земских пода-тей. Теперь он не признает никакого государства... Он дышит даровым воздухом, сладко спит на груди материнской, и сны не тревожат его. Ни староста, ни «мир» ему не страшны: мать никому не даст его в обиду. Радостно смотрит теперь молодая мать на его розовые пухлые щеки, на полузакрытые светлые глазенки и на этот маленький ротик, крепко прильнувший к ее соску. А Пашутка расположился со всем удобством, ухватившись левою ручонкой за грудь матери.

– Смотри-ка, Яков, – какой провор! – сказала Марфуша, глазами указывая на сына.

Яков повернул к ним голову и ухмыльнулся.

– Ишь ты, баловник! – промолвил он, наклоня над сынишкой свое загорелое, темное бородатое лицо и ласково поглаживая его по волосам, мягким и светлым, как чесаный лен.

Пашутка при этом на мгновение широко раскрыл глаза и, усиленно зачмокав, еще ближе прильнул к груди, еще крепче сжал свой кулачок.

– Пальцы-то как запускает... Ах, батюшки!.. Изо всей-то мочи... – смеясь, говорила Марфуша.

– Боится, чтоб не взяли... – пояснил отец. – Ну, да ладно! Не отымут твою забаву... Оставайся с ней на здоровье!

Посидели молча; тихий час нашел. Они были бедны; осе-

нью им угрожало постукивание под окном старосты, собирающего старые недоимки и новые подати; они устали сегодня, измаялись, но все-таки теперь они «по-своему» были довольны. С податью они как-нибудь справятся; ноги и ручки их отдохнут уже после покрова дня, когда они измолотят последний овин; с недостатчей хлеба также сладят как-нибудь – при займут опять у того же Трофимыча до новой ржи... Что ж делать, если придется за четверик два отдать! «Где наше не пропадало!..» А главное: оба они молоды, здоровы и не унывают...

– Экий вечер-то сегодня тихий! – сказала Марфуша, оглядываясь и заслоняясь рукою от солнца. – Знать, и завтра будет ведро... Дай бы бог – постояло такое времечко... С рожью-то управились бы живо!

– Да! – промолвил Яков, поглядывая за реку на расстилавшиеся там поля и луга.

Тишиной и миром, честным, святым трудом веяло ото всюду над этим укромным уголком земли в тот вечерний час. Воробьи громко чирикали, перескакивая и порхая по жердочкам плетня; куры кудахтали, роясь в песке. Темно-зеленые листья черемухи, росшей за плетнем, чуть-чуть покачивались.

– Ну! сидеть-то тут хорошо, а идти – копны класть – все-таки надо... А то, гляди, росой хватит! – проговорил наконец Яков, поднимаясь с крыльца.

Марфуша проворно накинула на пробой петлю и заткнула

ее деревяшкой, тут же висевшей на веревочке. Когда Яков брался за грабли, завалившиеся за крыльцо, вдали послышался колокольчик, и все ближе, ближе...

– Кого бог дает? – заметила Марфуша, выходя из ворот.

– Может, писарь опять... – говорил Яков, идя за женой.

Колокольчик той порой смолк. Яков издали видел, что какая-то пара лошадок остановилась у старостиной избы. Дорожа последними часами заходящего дня, он, не останавливаясь, поворотил к реке и стал спускаться по тропинке, извивавшейся по обрыву.

– Не беги! Тише! – крикнул он жене. – Урони ребенка-то...

– Да круто больно... Так и толкает! – отозвалась та, сбегав с кручи и остановившись над водой.

– Толкает! – добродушно передразнил ее муж. – Я вот ужо тебя толкну...

«Он только что прошел»... – «Куда?» – «К реке... на покос, надо быть»... Этот отрывочный разговор донесся до Якова, когда он с женой был уже на середине реки. И почти в ту же минуту на береговой круче появился староста, порядочно запыхавшись, с раскрасневшимся лицом и без шапки.

– Яков! А Яков! – кричал староста. – Подь сюда!

– Чего тебе? Чего орешь-то?.. – отозвался Яков, в пол оборота оглядываясь на старосту.

– Завтра тебе в волость нужно... бессрочных собирают...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 12 апреля 1877 г. Россия объявила войну Турции. Сначала военные действия

из правленья, вон нарочный... – выкрикивал староста, тяжело переводя дух.

– Каких бессрочных? – переспросил Яков, переступая с ноги на ногу.

– Ваших, слышь, – гвардейских!.. Да подь-ка сюда... Вон бумага...

И староста, почесываясь, поплелся с берега.

---

развивались успешно, но 18 июля, после неудачной атаки Плевны, русская армия в Болгарии оказалась в трудном положении. В июле была объявлена мобилизация 110 тысяч солдат для подкрепления русских войск.

### 3

Марфуша обомлела и стояла, не шевелясь, как вкопанная. В первую минуту ни один мускул в лице ее не дрогнул, только все лицо вдруг побледнело, да глаза с напряжением уставились вверх, на то место, где за минуту перед тем стоял староста и где теперь был виден лишь песчаный бугор да груда полусгнившей соломы, а выше – голубое сияющее небо, озаренное красноватыми лучами вечернего солнца... Впрочем, для Марфуши красного солнышка уже не стало; оно словно пропало, скатилось за край земли – и все кругом нее вдруг замутилось, потемнело; посерел, приуныл весь белый свет... И Якова словно обухом по лбу хватил староста своим известием.

– Яша! Правда? – чуть слышным шепотом сорвалось с уст Марфуши.

– Надо узнать толком... – отвечал Яков, возвращаясь в деревню.

Он пошел к старостиной избе; жена – за ним. Тут уж не оставалось ни малейшего сомнения и никакой, надежды. Им, признаться, до последней минуты думалось: «Не вранье ли?»... Теперь уж, конечно, стало не до работы; некогда копны класть да сено убирать...

– Ты домой ступай! А я – сейчас... – молвил Яков жене. Значит – «правда»...

С тихим, надрывающимся плачем шла Марфуша по деревенской улице, ничего не видя, ни на что не глядя и спотыкаясь, точно пьяная. Горе одурманило ее... Слезы застилали ей глаза, текли по загорелым щекам, падали куда попало – наземь, на руку, на волосы спящего малютки. Непригляден, холоден показался ей теперь сквозь слезы этот красный догорающий вечер. «Господи! Что с нами будет? Что будет?!» – шептали ее побелевшие губы, а сердечушко кровью обливалось... Пришла она в избу, тяжело опустилась на лавку, да так и замерла. Ни одного ясного чувства, никакой ясной мысли не пробуждалось в ней. Жгучею, нестерпимую болью всю ее охватывало... Одно лишь с убийственной ясностью стояло перед нею, как дикий кошмар: «На войну *его* угонят! Одни мы останемся»... Вот что так сгорбило ее, так низко нагнуло ей голову и выжимало у нее слезу за слезой...

Заплакал ребенок... Марфуша машинально, по привычке, расстегнула рубаху и прижала к себе ребенка. А у самой глухие рыдания так и рвутся из груди; сердечушко ноет болит, словно кто-нибудь железными щипцами зажимает его. И плачет она, наклонившись над Пашуткой, и кропя; Пашуткину голову ее горячие слезы. Уже смокли от слез его светлые волосики. А он и не чувствует, что мать с горя убивается он – знай себе – тянет свою соску...

А Яков зашел в питейный и купил косушку.

– Что ж делать! Надо, брат, послужить... – отозвался он, встряхивая волосами, когда целовальник выразил ему свое



сожаление. – На то, брат, и солдат, чтобы воевать...

Он кашлянул, выпил тут же залпом половину косушки, а остальные старательно заткнул пробкой и скляницу пихнул за пазуху.

– Только знатьё – не жениться бы! – со вздохом про шептал он, выходя на улицу и торопливо проводя рукой по глазам.

И вдруг во все горло затянул он песенку. Бесшабашное разгулье звучало в ее тоне... Неладная, дикая была то песня. Вышло бы лучше, не так больно и жутко было бы слушать, если бы Яков прямо, благим матом, заревел на всю улицу.

Придя домой, он допил косушку и с напускной веселостью сказал жене:

– Ну, Марфа! Надо мундир доставать, и кэпу, и все... Ступай в чулан, тащи... да почисти!.. Нет, погоди... сам вычищу... Где вам, бабам!..

Напрасно Яков пил и шутил: вином горя не зальешь, разговорами не заговоришь и шутками не скрасишь...

– Господи, господи! Да что ж это такое... – тихо причитала про себя Марфуша, роясь в летнем чулане и доставая из-под груди всякого домашнего хлама мужнину одежду. – Что мы теперь без него... Сиротинушки!.. Не думали не гадали, а вот... Кормилец ты наш! Красное мое солнышко...

Все мигом припомнилось Марфуше... «Еще летось в троицын день с парнями баловал, надевал на себя всю муницию, по улицам ходил, балагурил, показывал всякие штуки... А

теперь вот и в самом деле пришлось опять»... И Марфуша, склонившись над рухлядью, горько зарыдала.

Яков – этот некогда бравый гвардеец, а теперь обросший бородой и с виду мужиковатый малый – также невесел сидел за столом перед пустой косушкой. Низко понурив голову, он барабанил пальцами по краю стола, исподлобья взглядывая на дверь, куда вышла жена и откуда должна была скоро появиться с его амуницией...

Яков был ошеломлен нечаянным призывом.

Уже четыре года он на Обросимове в бессрочном отпуску. Общество выделило ему землю; Яков поставил хатку, обнес ее двумя сараями, развел огород и в довершение всего женился года полтора тому назад. Через год Марфуша принесла ему сына. Бахрушин зажил семьянином, и мысль о службе гвардейской совсем-таки выпала у него из головы. Вспоминал он про нее только изредка, рассказывая ребятам про смотры и ученья, про генералов в золоте да про великих князей. Время шло, и Якову стало казаться, что уже ничто не потревожит его, что он так-таки и доживет до старости в своем родном Обросимове. В его голову и думушки никогда не закрадывалось о том, что его опять когда-нибудь потянут на службу, что придется доставать из чулана амуницию и прощаться с крестьянской рабочей долей...

Правда, еще в прошлом году говорили про то, что много русских уехало на войну с турками. Только та война объявлялась не от России, а от сербского государства. Сказывали, что из первых уехал биться с турками наш генерал Черняев<sup>2</sup>. Писарь про него в газете читал и немало толковали про

---

<sup>2</sup> Турецкие зверства в славянских землях Оттоманской империи вызвали в 1875 г. восстание в Боснии и Герцеговине, а затем Турции объявили войну Черногория и Сербия. Когда началось герцеговинско-боснийское восстание, русский

него в Обросимове... Но прошло лето, прошла осень – бог миловал: призыву не было... С весны опять начали о войне поговаривать. Писарь сказывал, что против турок войска наши пошли. Иной раз и про то поминали: как бы не стали бессрочных собирать...

Но Якову никак не верилось, что за ним-то вот именно и пошлют... Он так сжился с деревней, со своим полем, с хатой, с мирной жизнью семейной, что ему даже дико было подумать о казарме, о солдатском житье-бытье, о войне и сражениях. Руки за пять лет уже отвыкли от ружья; зато он ловко управляет с топором, с косой, с цепом и вилами. Отвык он маршировать, зато – мастер ходить за сохой, дрова рубить, молотить, корчевать пни. Отвык он от барабанного боя, от шума и грохота маневров и смотров; привык к жизни тихой, деревенской... Неделю, бывало, работает он, как вол, а в праздник погулять выйдет, полштоф с ребятами разопьет, споет песенку – не боевую, не военную, а песенку обросимовскую – протяжную да унылую... Знать, эта песенка названа: «непогодою, невзгодою повитая, во крови – в слезах крещеная, омытая»<sup>3</sup>; про нее, знать, сказано, что «нанесло ее с пожарищ дымом-копотью, намело с сырых могил метелицей»... А иной раз, бывало, и на улицу не пойдет, ся-

---

генерал Михаил Григорьевич Черняев (1828–1898), вопреки желанию царского правительства, отбыл в Белград и был назначен командующим сербской армии. Поражение сербов под Дьюнишем в 1876 г. вызвало вмешательство России.

<sup>3</sup> Цитируются стихотворения Л. А. Мея «Запевка» (1856). См.: Мей Л. А. Избр. произведения. 2-е изд. Л., 1972, с. 167. (Библиотека поэта).

дет с трубочкой у оконца и переговаривается с Марфушей. Когда же семьи прибыло, Яков реже прежнего стал уходить из дому в досужие часы...

Но вот воротилась жена в избу с амуницией и, тихо плача, начала вытряхивать мундир и обчищать пыль с кэпи. Нужно было кое-что зашить, пришить две-три пуговицы. Марфуша села за работу.

Скоро вся деревня уже знала, что собирают бессрочных и Якова завтра в город погонят.

– Марфа-то, поди, убивается! – толковали бабы.

– Еще бы ей не убиваться... только что было своим домом зажили, а тут – на-кось...

– Все хозяйство теперь в разор пойдет! – рассуждали мужики.

– Что и толковать! Где уж бабе управиться, да еще с ребенком...

– Охо-хо! Горе-гореваньице, прости господи... Землю-то, поди, разложат на общество... две лишние души кормить заставят...

– Знамо, что заставят... Это уж как есть... Ведь не с голоду же помирать бабе!..

– Ох, как бы и всем-то нам с голоду помирать не пришлось! – заметил старик Прохор, посматривая на мужиков своими красными, слезящимися глазками.

Соседи пришли к Якову понаведаться, посидели, потолковали, поохали и разошлись невесело.

Сборы были недолги: Яков живо управился. Вечером поздно, после ужина, он уселся – может быть, в последний раз – на свое любимое местечко, на крыльцо, и закурил трубку... В труде, со спокойной душой, светло начат был им этот день. А вечером сразу все вверх дном стало, сердечушко ныло, болело, и темно было впереди. Все его планы и расчеты разлетелись мигом: не снимет он у Кузьмича в аренду этот клинышек земли, не насадит картофеля; не кончить ему полевых работ; жене одной придется дожинать и убирать хлеб.

Наступала ночь, ясная, тихая. В синем небе золотые звездочки ярко горели. Полный месяц стоял над землей. Он приходился теперь за избой. От хаты и от плетня ложились тени... Вот – двор. В одном углу его лежит ворох полусгнившей прошлогодней соломы. Под навесом стоят дровни, оглоблями вверх. Вон черемуха раскинула над плетнем свои жиденькие ветви. Вершина ее не шелохнется и вся серебрится в месячном свете. Вон в огороде хмель высоко вьется по тычинкам, а вокруг него темнеет разросшаяся крапива и лопух... Все это очень знакомо Якову и со всем этим приходится теперь проститься... Надолго ли? Не навсегда ли?

Яков лег спать, но долго ворочался, не смыкая глаз. Известно: время летнее... то муха укусит, то комар запищит над головой... Перед рассветом Яков задремал...

## 5

И пригрезился ему сон...

В первом же сражении будто бы его ранили, и он, за непригодностью к службе, был отпущен домой. И вот он летел по чугунке, плыл на пароходе, тащился в телегах с попутными мужиками и наконец добрался до знакомых мест. Вот идет он Поземовским лесом; по его расчету, до Обросимова осталось не больше десяти верст. Пробирается он лесной окраиной, вдоль дороги, по сухой, крепко убитой тропинке. По ту и по другую сторону от него высокой стеной стоит лес. Густой кустарник разрастается по опушке. Из-за нежной зелени берез и осин там и сям торчат лохматые ели, высятся сосны. Розовый цвет шиповника алыми пятнами мелькает среди зелени, а из травы виднеются мелкие желтые и белые цветочки. Птицы чирикают в кустах... Красноватым вечерним светом, как отдаленным заревом, подергиваются лесные вершины. Свежестью, цветами, лесной глушью веет отовсюду. Здесь – мир и тишина...

Устал Яков, слаб он стал после болезни, грудь ноет, болит, тяжело дышать ему... Но он скоро поправится на родной стороне; деревенский лесной воздух вылечит его. Теперь он с жадностью и надеждой впивает в себя свежий вечерний воздух... И хорошо, весело ему стало, когда вправо от доро-

ги, на небольшой прогалине, показалась знакомая истопка<sup>4</sup>. От нее до Обросимова считается версты четыре... Лес наконец начинает редеть. Потянулись кусты и молодой, приземистый олешняк. Вот видать и Обросимово – видны его хаты с соломенными кровлями, с высокими почернелыми трубами. Яков чувствует, как начинает обдавать его дымком, жилым запахом. Струя теплого воздуха веет ему в лицо... Вот залаяла собака... и лает-лает...

Яков раскрывает глаза... Серый утренний рассвет пробивается сквозь щели поветей, и с улицы явственно доносится собачий лай. Где-то петухи поют... Накинув на себя сукманину, Яков вышел на двор... Облака заволакивали небо; моросил мелкий дождь. Неприветливо, угрюмо глядели в то утро обросимовские хаты, потемневшие от дождя. Там и сям из труб поднимался дым... Обросимово принималось за работу.

В последний раз Яков взялся за топор и стал колоть дрова. И много наколол он дров. «Надолго ей хватит теперь!» – думал он, смотря на поленья. Жаль только, что он так же скоро не может управить за Марфушу и все полевые работы. «Эх, знатё бы – поторопился... Рожь-то бы хоть кончить!» – с сожалением сказал он про себя.

Надо было собираться в путь. Натянул на себя Яков свой военный наряд с кантами и светлыми пуговицами. От платья пахло затхлостью, сыростью, как вообще пахнет от зале-

---

<sup>4</sup> *Истопка* – избушка, ставившаяся на местах покосов.



жавшейся старой одежды. Неуклюже сидел на Якове потертый полукафтан и совсем как-то не шел к его мужицкому лицу, обросшему бородой. Кэпи тоже как-то странно торчала на его густых косматых волосах... Вообще Яков скорее выглядел переряженным мужиком, чем солдатом. Плечи его как-то опустились, спина согнулась, и походка стала чисто мужицкая, тяжелая, «с перевалочкой»...

Попрощавшись с сельчанами и попросив «мир» не обижать его хозяйку, Яков еще раз взглянул на свою хату, судорожно перекинул с одного плеча на другое свой походный холстинный мешок и двинулся в путь. Баба с ребенком пошла провожать его.

– На могилки зайдешь? – спросила Марфуша, когда они поравнялись с погостом.

– Как же! Надо попрощаться с родителями... – промолвил Яков.

Жалобно скрипнула калитка на ржавых петлях, и путники стали пробираться между буграми к знакомым могилам, где, наклонившись, стояли два деревянных креста. Кресты посерели, погнили – не ныне, так в будущую осень их свалит ветром. Могилы осели, опустились... Яков скинул кэпи, набожно крестясь, трижды поклонился в землю, касаясь головой основания погнивших крестов. «Простите и вы, могилы!.. Прости, прах родительский!» – говорил про себя Яков, смотря на густую траву, росшую привольно на могильных буграх. Высокая, сочная осока слегка покачивалась от ветра,

и голубые незабудки выглядывали из-за нее.

– Марфа! Нет ли у тебя какой ни на есть тряпочки? – вдруг спросил Яков, круто оборачиваясь к жене.

Та молча пошарила в кармане. Никакой тряпки не оказалось... Тогда Яков присел на землю, стащил сапог и оторвал от своих онуч лоскуток. Обувшись снова, он взял с могилы горсточку сырой земли, завернул ее в холстину и этот крохотный узелок привязал на тесемку к кресту. Марфуша молча смотрела на мужа своими тусклыми, покрасневшими от слез глазами.

– Вот так-то лучше... – проговорил Яков, застегивая у рубахи ворот.

Глянул он на церковь и опять покрестился... Дорог и мил ему с малых лет этот старый деревянный храм с серою крышей и низкою колокольней! Он еще мальчуганом ходил сюда по праздникам к обедне. Здесь отпевали его отца и мать. Здесь, перед этим старым почерневшим иконостасом, он венчался. Здесь же крестили его сынишку... Бывать ли ему когда-нибудь в этой церкви? Бог весть... На войне по головке не гладят. Хоть там и дают иногда Георгиевские кресты, а все-таки скорее можно угодить в могилу без креста, чем с крестом на груди домой воротиться...

Пошли далее. Яков взял парнишку на руки, а жена за ним следом тащила мешок.

Волостное правление от Обросимова было в 12 верстах. До него нужно было идти пешком, а оттуда бессрочных

должны были везти на подводах в город за 40 верст.

Прошли обросимовские поля, прошли воронинскую пустошь. Родные места уже скрылись из виду... А на Обросимове той порой жизнь и работы шли прежним порядком... По-прежнему над Обросимовом наступит вечер, потемнеет небо, заскрипят по полям коростели, запахнет сеном в прохладном воздухе. Не будет доставать лишь одного «Якова бессрочного»...

## 6

Соседи обещали не обижать Марфушу. Это так... Но Яков Бахрушин очень хорошо знал, что в минуту прощанья люди как-то невольно становятся мягче, добрее и дают иногда такие обещания, которые исполнить бывает им не под силу. Ведь соседи его люди бедные, вечно в нужде да в притеснениях. А бедные люди поневоле подчас становятся раздражительны, злы, жестоки... Яков был человек неглупый, и думалось ему, что не сегодня-завтра его Марфуше может прийти плохо. А кто же вступится за нее, когда у каждого своя забота, свое горе. Всякому некогда, не до других, когда свое добро горит и болит душа...

Хотя Яков в свое время был бравым солдатом и лихо выкрикивал «ура» и «рады стараться», хотя он числился «бессрочным», но все-таки прежде всего он был человек, семьянин, крестьянин обросимовского общества. Для солдатских чувств время еще будет впереди; запах пушечного дыма и крови не раздул еще в нем воинственных инстинктов. Чувства простые, человеческие теперь всецело владеют им, волнуют его и заставляют высоко подниматься его грудь. Теперь он еще не военный герой, подвигам которого, быть может, станет удивляться мир. Теперь он только герой труда и терпения...

Он не задавался вслух горьким вопросом: «Зачем эта вой-

на поднялась? Для чего было бессрочных собирать?» и т. д. Только где-то глубоко в душе вставало сожаление. «Э-эх! То ли дело на Обросимове»... Слава его не манила, и ничто не тянуло в даль от родного угла. Что ж делать! Не виноват Яков Бахрушин, что он не родился воинственным человеком, не вырос героем, хотя трусом, человеком малодушным он не был никогда. Все думы, все человеческие чувства он глубоко схоронит в своей душе...

В город приехали уже ночью и расположились на улице перед желтым одноэтажным домом. Надпись на доме гласила: «Полицейское управление». Перед этим домом простиралась большая, пустая площадь, только в базарные дни наполнявшаяся деревенским людом. Среди площади в ночном сумраке неясно белела большая каменная церковь, за церковью темнели «ряды», то есть ряд пустых лавчонок с какими-то жалкими навесами. Изредка кое-где взлаивала собака. Из растворенных окон соседнего дома отрывочно доносились звуки музыки и нежный женский голос сладко пел про счастье, про любовь... Небо было серо, облачно и грозило дождем.

Путники наши расположились по-цыгански, только нельзя было костра развести. Марфуша с ребенком прилегла в телеге, а Яков, завернувшись в сукманину, растянулся на пыльной мураве. Другие два «бессрочные», ехавшие с ними, завалились тут же. А возница, привязав лошадь к тротуарной тумбе, сам прикорнул под телегой... По улице иногда про-

ходили бары, вероятно возвращавшиеся домой из гостей, и с жаром толковали что-то про Дунай-реку, про Каре...<sup>5</sup> А серое небо хмурилось, и высокая белая колокольня на площади как-то мрачно, зловеще рисовалась на темно-сизых тучах, нависших над городом...

К утру перед полицейским управлением набралось бессрочных со всего уезда человек 40. Пошли осмотры, выпи-сыванья да расписыванья... Явившись по начальству и освобо-дившись на время, бессрочные разбрелись по трактирам заливать свое горе – кто чаем, кто водкой. На всех пере-крестках встречались плачущие женщины. Солдатики пья-ными ватагами ходили, обнявшись, по улицам и орали пес-ни. Городишка оживился... До позднего вечера на улицах слышались разгульные песни, стоны баб и плач ребят... Все это время Яков давал своей Марфуше советы и учил: как ей быть и что делать без него...

Ночью на нескольких подводах бессрочных повезли в гу-бернский город. Марфуша упросила своего кума Василья довести ее до города... Зазвенели колокольчики, запылила большая дорога. Леса, болота, поля, деревни, станционные дома с их полосатыми фонарными столбами долго мелька-ли перед глазами путников. Наконец телеги застучали по ка-менной мостовой. Приехали.

На следующий день наступило последнее прощанье.

---

<sup>5</sup> То есть про военные действия за Дунаем в Болгарии и на Кавказе. Русские войска взяли Каре штурмом в ночь на 6 ноября 1877 года.

Можно было думать, что прощанье не умножит скорби, не усилит горя, ибо горе и так было велико и глубоко. Но нет!.. В эти-то последние минуты и произошел взрыв самого жгучего отчаяния...

На вокзале Яков явился уже более похожим на солдата: он был подстрижен, выбрит; только усы – по-прежнему длинные – закрывали его верхнюю губу. На плечах была накинута серая шинель... Раздался звонок. Точно по сердцу ударил он Марфушу. Яков рванулся было, но жена крепко ухватила его одной рукой за плечо, а другою прижала к его груди ребенка и сама прильнула к нему.

– Голубчик! Яша... на кого ты нас... – вся дрожа и рыдая, замирающим голосом шептала она.

Яков, его жена и сын составляли в те минуты такую тесную группу, словно бы она была одно целое. У Якова на ресницах дрожали слезы, когда он смотрел на сынишку и чувствовал, как Марфушины теплые слезы падали ему на щеку... Второй звонок.

– По местам, господа! – выкрикивал кондуктор. – Садитесь!.. Служивый! Эй!..

Яков рванулся и побежал в вагон. А тихий жалобный плач несся за ним.

– Яша, голубчик! – крикнула Марфуша.

Мало слов, а горя – реченька,  
Горя – реченька бездонная...<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Финальные стихи поэмы Н. А. Некрасова «Орина – мать солдатская».



Много баб набралось. Стон и вой разносились по всему вокзалу из конца в конец. Много слез было пролито в тот день на каменные плиты дебаркадера железной дороги... Третий звонок, затем свисток... И какой же он громкий, пронзительный, жалобный! Бабы даже вздрогнули, услышав его... Поезд тронулся. Марфа, глотая слезы и прижимая к груди Пашутку, ускоренным шагом шла рядом с тем вагоном, откуда из окна кивал ей головой и махал шапкой ее Яша... Поезд пошел скорее. Марфуша побежала... Сбежала с платформы и с воем пустилась вдоль полотна дороги догонять поезд.

– Не бежи! Расшибешься! – кричали ей незнакомые голоса из окон мелькавших перед нею вагонов. – Прости, голубка! Не поминай лихом... Э-эх ты, ну! У-ух!.. Жги-и-и, говори... рукавички барановые... – вопили из вагонов во всю мочь.

Марфуша уже не видала своего Якова. Поезд, стуча и громыхая, проносился мимо нее; в окнах вагонов мелькали незнакомые лица... В глазах у Марфуши помутилось, закружилась ее бедная головушка. Марфуша остановилась и, чтобы не упасть, оперлась на телеграфный столб... Поезд умчался, шум затих вдали. Народ расходился со станции.

## 8

По прибытии на место военных действий Якова Бахрушина, вместе с прочими, отправили в Зимницу. Там они оставались сутки без еды, потому что на них еще не было отпущено провианта. На другой день им выдали сухарей, а еще через день они добыли себе какой-то холодной похлебки. Вскоре же их зачислили в полк и отправили под Плевну.

В половине октября, когда одна из самых отчаянных неприятельских атак была отбита нашими войсками<sup>7</sup>, сотоварищ Якова, раненный в ногу, лежал на окраине заброшенного, вытопанного кукурузного поля. Вечерело... Вся лощина и скат противоположного холма, занятого турками, были еще в дыму. Слышался сухой треск ружейных выстрелов. В сероватых облаках дыма порой вспыхивали молнии и слышался грохот орудий... Солнце красным шаром стояло низко над землей, и клубы дыма порою заволакивали его...

Совершалось здесь страшное дело... Люди на время переставали быть людьми и становились зверями – дикими и злыми. Чудовищно странны и страшны до безобразия были эти лица с выражением то страха, то лютой ненависти и злости; страшны были эти налитые кровью глаза, жилы, на-

---

<sup>7</sup> Речь идет о блокаде Плевны, сопровождавшейся кровопролитными столкновениями русских и турецких войск. Блокада Плевны закончилась 28 ноября капитуляцией турецкого гарнизона.

прыгнувшие на висках, раздувшиеся ноздри, оскаленные физиономии, потемневшие от порохового дыма и забрызганные кровью. Убитые лежали кучами. Раненые корчились в предсмертных муках. Слышались стоны, хрипение... Животные пришли в ярость; лошади грызлись между собой так же, как люди. Земля стонала; стонал, казалось, и самый воздух над землей. Адская музыка гудела, не умолкая, между землей и небесами...

Вдруг раненый, лежавший на краю кукурузного поля, услышал неподалеку от себя слабое, прерывистое ржанье и обернулся. В нескольких шагах от него лежала издыхавшая лошадь. Ее бока тяжело подымались; окровавленные внутренности вывалились у нее наружу... Какой-то солдат, тоже, видно, тяжело раненый, полулежал, прислонившись к спине лошади. Стараясь приподняться, он с усилием упирался локтем о шею лошади. Первый раненый внимательно посмотрел на земляка, признал его и тихо окликнул:

– Бахрушин! Ты?

– Я! – отозвался тот также тихо, с трудом поворачивая голову к товарищу. – А ты... а-а... – начал было он и не кончил.

В то же мгновение граната, шипя, взбороздила землю перед самой лошадью, и раздался взрыв. Раненого, который окликнул Бахрушина, всего обдало песком. Когда же пыль рассеялась, он протер глаза и оглянулся... Лошадь была уже бездыханна, и рядом с ней, распластав руки, лежал Яков

Бахрушин, страшно обезображенный, с размозженным черепом, облитый кровью...

Бедняга! – не исполнился сон, что видел он накануне отъезда из дому...

В облаках дыма по-прежнему поблескивали молнии и грохотал гром. Красноватые лучи заходящего солнца, пробившись сквозь дым, кровавым светом окрашивали на мгновение лощину – и затем мрачные тени, сгущаясь, снова ложились над полем брани, над полем смерти...

...А на Обросимове напрасно Марфуша ждала своего мужа. Не возвратился он домой... Когда сын подрос и в первый раз спросил мать: где тятя? – она сквозь слезы ответила ему: – Тятя твой на войну ушел...

*(Впервые – Наблюдатель, 1885, № 12.)*

# Павел Владимирович Засодимский (1843–1912)

Родился в небогатой дворянской семье в городе Великий Устюг Вологодской губернии. Детские годы прошли в глухом уездном городке Никольске в общении с простым народом и политическими ссыльными. По окончании Вологодской гимназии поступил на юридический факультет Петербургского университета, но через полтора года прекратил учебу из-за тяжелого материального положения семьи. С 1865 г. живет скитальческой жизнью: ночлежные дома, грязные петербургские углы, мелкая поденная работа, случайные уроки. Покинув Петербург, странствует по Воронежской, Новгородской, Петербургской, Тверской, Вологодской и Пензенской губерниям, живет в курных избах и вместе с бедняками работает на кулаков.

В 1872 г. по поручению редакции журнала «Дело» совершает поездку по деревням Тверской губернии для изучения сельских кузнечных промыслов. По возвращении работает над лучшим своим произведением «Хроника села Смурина», опубликованном в журнале «Отечественные записки» (1874). Герой романа – крестьянин нового типа, человек с пробуждающимся классовым самосознанием, стремящийся изменить окружающую жизнь. Писатель народниче-

ских убеждений с тревогой и грустью наблюдает расшатывание общинных традиций, классовое расслоение деревенского мира, но в то же время чувствует неистребимость нравственных порывов к добру и справедливости в народной душе.

В эти годы Засодимский становится сельским учителем, обнаруживая незаурядный педагогический талант, пробуждая любовь к просвещению в крестьянах деревни Меглецы. Для взрослых он организует специальную вечернюю школу. На деревенских сходках учитель становится добрым советчиком и неизменным ходатаем по всякого рода крестьянским делам. Но такой человек неугоден местному начальству и сельским богатеям: его высылают из деревни. В романах «Кто во что горазд» (1878) и «Степные тайны» (1880) ставятся коренные проблемы крестьянского бытия, с которыми столкнулся Засодимский в годы своей учительской практики.

В 1883–1884 гг. он публикует в двух томах «Задушевные рассказы» – своего рода «летописи» пореформенной жизни русского мужика. В романе «По градам и весям» (1885) сельский землемер, народник Верюгин, разочарованный неудачами «хождения в народ», обращает внимание на Петербург, «где дымятся фабричные трубы и где толпы закоптелых рабочих встречаются на улице».

В 90-е гг. Засодимский увлекся теорией Л. Н. Толстого о нравственном самоусовершенствовании, отголоски этого

увлечения чувствуются в романе «Грех» (1893). В последние годы жизни писатель работал над рассказами для детей и теоретико-политическим трактатом «Деспотизм, его принципы, применение и борьба с деспотизмом».

Текст печатается по изданию: Засодимский П. Собр. соч.: В 2-х т. Спб., 1895.